

*Набережная
Неисцелимых
Watermark*

To Robert Morgan

Роберту Морзани

Many moons ago the dollar was 870 lire and I was thirty-two. The globe, too, was lighter by two billion souls, and the bar at the *stazione* where I'd arrived on that cold December night was empty. I was standing there waiting for the only person I knew in that city to meet me. She was quite late.

Every traveler knows this fix: this mixture of fatigue and apprehension. It's the time of staring down clock faces and timetables, of scrutinizing varicose marble under your feet, of inhaling ammonia and that dull smell elicited on cold winter nights by locomotives' cast iron. I did all this.

Save for the yawning bartender and immobile Buddha-like *matrona* at the cash register, there was no one in sight. However, we were of no use to each other: my sole currency in their language, the term "espresso," was already spent; I'd used it twice. I'd also bought from them my

Много лун тому назад доллар равнялся 870 лирам и мне было тридцать два года. Планета тоже весила на два миллиарда душ меньше, и бар той stazione*, куда я прибыл холодной декабрьской ночью, был пуст. Я стоял и поджидал единственное человеческое существо, которое знал в этом городе. Она сильно опаздывала.

Всякий путешественник знает этот расклад: эту смесь усталости и тревоги. Когда разглядываешь циферблаты и расписания, когда изучаешь венозный мрамор под ногами, вдыхая карболку и тусклый запах, источаемый в холодную зимнюю ночь чугунным локомотивом. Чем я и занялся.

Кроме зевающего буфетчика и неподвижной, похожей на Будду матроны у кассы, не видно было ни души. Толку, впрочем, нам друг от друга было мало: весь запас их языка — слово «espresso» — я уже истратил; я воспользовался им дважды. Еще я купил у них первую пачку

* Станция, пристань (*ит.*).

first pack ever of what in years to come was to stand for “*Merde Statale*,” “*Movimento Sociale*,” and “*Morte Sicura*”: my first pack of MS. So I lifted my bags and stepped outside.

In the unlikely event that someone’s eye followed my white London Fog and dark brown Borsalino, they should have cut a familiar silhouette. The night itself, to be sure, would have had no difficulty absorbing it. Mimicry, I believe, is high on the list of every traveler, and the Italy I had in mind at the moment was a fusion of black-and-white movies of the fifties and the equally monochrome medium of my *métier*. Winter thus was my season; the only thing I lacked, I thought, to look like a local rake or *carbonaro* was a scarf. Other than that, I felt inconspicuous and fit to merge into the background or fill the frame of a low-budget whodunit or, more likely, melodrama.

It was a windy night, and before my retina registered anything, I was smitten by a feeling of utter happiness: my nostrils were hit by what

того, чему в предстоявшие годы суждено было означать «Merda Statale», «Movimento Sociale» и «Morte Sicura»* — первую пачку MS**. Так что я подхватил чемоданы и шагнул наружу.

В том маловероятном случае, если чьи-то глаза следили за моим белым лондонским дождевиком и темно-коричневым борсалино, то суммарный силуэт этих глаз бы не резал. Самой ночи поглотить его точно не составило бы труда. Мимикрия — на мой взгляд, обязательное свойство путешественника, а сложившаяся к тому времени в моем сознании Италия состояла из черно-белых фильмов пятидесятых и имеющих ту же окраску принадлежностей моего ремесла. Поэтому зима была правильным сезоном; единственное, чего, по-моему, мне не хватало, чтобы сойти за местного шалопаю или carbonaro***, был шарф. В остальном я чувствовал себя незаметным и готовым слиться с фоном или заполнить кадр малобюджетного детектива или, скорее, мелодрамы.

Ночь была ветреной, и, прежде чем включилась сетчатка, меня охватило чувство абсолютного счастья: в ноздри ударил его всегдашний —

* «Государственное дерьмо», «Общественное движение», «Верная смерть» (*ит.*).

** Сорт итальянских сигарет.

*** Карбонарий (*ит.*).

to me has always been its synonym, the smell of freezing seaweed. For some people, it's freshly cut grass or hay; for others, Christmas scents of conifer needles and tangerines. For me, it's freezing seaweed—partly because of onomatopoeic aspects of the very conjunction (in Russian, seaweed is a wonderful *vodorosli*), partly due to a slight incongruity and a hidden underwater drama in this notion. One recognizes oneself in certain elements; by the time I was taking this smell in on the steps of the *stazione*, hidden dramas and incongruities long since had become my forte.

No doubt the attraction toward that smell should have been attributed to a childhood spent by the Baltic, the home of that meandering siren from the Montale poem. And yet I had my doubts about this attribution. For one thing, that childhood wasn't all that happy (a childhood seldom is, being, rather, a school of self-disgust and insecurity); and as for the Baltic, you had indeed to be an eel to escape my part of it. At any rate, as a subject for nostalgia this childhood hardly qualified. The source of that attraction, I'd always felt, lay elsewhere, beyond the confines of biography, beyond one's genetic makeup—somewhere in

для меня — синоним: запах мерзнущих водорослей. Для одних это свежескошенная трава или сено; для других — рождественская хвоя с мандаринами. Для меня — мерзлые водоросли: отчасти из-за звукоподражательных свойств самого названия, в котором сошлись растительный и подводный мир, отчасти из-за намек на неуместность и тайную подводную драму содержащегося в понятии. В некоторых стихиях опознаешь себя; к моменту втягивания этого запаха на ступенях stazione я уже давно был большим специалистом по неуместности и тайным драмам.

Привязанность к этому запаху следовало, вне всяких сомнений, приписать детству на берегах Балтики, в отечестве странствующей сирены из стихотворения Монтале. У меня, однако, сомнения были. Хотя бы потому, что детство было не столь уж счастливым (и редко бывает, являясь школой беззащитности и отращения к самому себе), а что до моря, то ускользнуть из моей части Балтики действительно мог только угорь. В любом случае на предмет ностальгии детство тянуло с трудом. Я всегда знал, что источник этой привязанности где-то в другом месте, вне рамок биографии, вне генетического склада, где-то в гипоталамусе,

one's hypothalamus, which stores our chordate ancestors' impressions of their native realm of—for example—the very ichthus that caused this civilization. Whether that ichthus was a happy one is another matter.

A smell is, after all, a violation of oxygen balance, an invasion into it of other elements—methane? carbon? sulphur? nitrogen? Depending on that invasion's intensity, you get a scent, a smell, a stench. It is a molecular affair, and happiness, I suppose, is the moment of spotting the elements of your own composition being free. There were quite a number of them out there, in a state of total freedom, and I felt I'd stepped into my own self-portrait in the cold air.

The backdrop was all in dark silhouettes of church cupolas and rooftops; a bridge arching over a body of water's black curve, both ends of which were clipped off by infinity. At night, infinity in foreign realms arrives with the last lamppost, and here it was twenty meters away. It was very quiet. A few dimly lit boats now and then prowled about, disturbing with their propellers the reflection of a large neon CINZANO

где хранятся воспоминания наших хордовых предков об их родной стихии — например, воспоминания той самой рыбы, с которой началась наша цивилизация. Была ли рыба счастлива, другой вопрос.

Запах в конечном счете есть нарушение кислородного баланса, вторжение в него иных элементов — метана? углерода? серы? азота? В зависимости от объема вторжения получаем привкус — запах — вонь. Это все дело молекул, и, похоже, счастье есть миг, когда сталкиваешься с элементами твоего собственного состава в свободном состоянии. Тут их, абсолютно свободных, хватало, и я почувствовал, что шагнул в собственный портрет, выполненный из холодного воздуха.

Весь задник был в темных силуэтах куполов и кровель; мост нависал над черным изгибом водной массы, оба конца которой обрезала бесконечность. Ночью в незнакомых краях бесконечность начинается с последнего фонаря, и здесь он был в двадцати метрах. Было очень тихо. Время от времени тускло освещенные моторки проползали в ту или другую сторону, дробя винтами отражение огромного неоновоего CINZANO,

trying to settle on the black oilcloth of the water's surface. Long before it succeeded, the silence would be restored.

It all felt like arriving in the provinces, in some unknown, insignificant spot—possibly one's own birthplace—after years of absence. In no small degree did this sensation owe to my own anonymity, to the incongruity of a lone figure on the steps of the *stazione*: an easy target for oblivion. Also, it was a winter night. And I remembered the opening line of one of Umberto Saba's poems that I'd translated long before, in a previous incarnation, into Russian: "In the depths of the wild Adriatic..." In the depths, I thought, in the boondocks, in a lost corner of the wild Adriatic... Had I simply turned around, I'd have seen the *stazione* in all its rectangular splendor of neon and urbanity, seen block letters saying VENEZIA. Yet I didn't. The sky was full of winter stars, the way it often is in the provinces. At any point, it seemed, a dog could bark in the distance, or else you might hear a rooster. With my eyes shut I beheld a tuft of freezing seaweed splayed against a wet, perhaps ice-glazed rock somewhere in the universe, oblivious to its

пытавшегося снова расположиться на черной клеенке воды. Тишина возвращалась гораздо раньше, чем ему это удавалось.

Все отдавало приездом в провинцию — в какое-нибудь незнакомое, захолустное место — возможно, к себе на родину, после многолетнего отсутствия. Не в последнюю очередь это объяснялось моей анонимностью, неуместностью стоящей на ступенях stazione одинокой фигуры: удобной для забвения мишени. К тому же была зимняя ночь. И я вспомнил первую строчку стихотворения Умберто Сабы, которое когда-то давно, в предыдущем воплощении, переводил на русский: «В глубине Адриатики дикой...» В глубине, думал я, в глуши, в забытом углу дикой Адриатики... Стоило лишь оглянуться, чтобы увидеть stazione во всем ее прямоугольном блеске неона и городского шика, увидеть печатные буквы: VENEZIA. Но я не оглядывался. Небо было полно зимних звезд, как часто бывает в провинции. Казалось, в любую минуту вдаль мог залаять пес, не исключался и петух. Закрыв глаза, я представил себе пучок холодных водорослей, распластанный на мокром, возможно — обледеневшем, камне где-то во вселенной, безразличный к тому —

location. I was that rock, and my left palm was that splayed tuft of seaweed. Presently a large, flat boat, something of a cross between a sardine can and a sandwich, emerged out of nowhere and with a thud nudged the *stazione's* landing. A handful of people pushed ashore and raced past me up the stairs into the terminal. Then I saw the only person I knew in that city; the sight was fabulous.

I had seen it for the first time several years before, in that same previous incarnation: in Russia. The sight had come there in the guise of a Slavacist, a Mayakovsky scholar, to be precise. That nearly disqualified the sight as a subject of interest in the eyes of the coterie to which I belonged. That it didn't was the measure of her visual properties. Five foot ten, fine-boned, long-legged, narrow-faced, with chestnut hair and hazel, almond-shaped eyes, with passable Russian on those wonderfully shaped lips and a blinding smile on the same, superbly dressed in paper-light suede and matching silks, redolent of mesmerizing, unknown to us, perfume, the sight was easily the most elegant female ever to set a mind-boggling foot in our midst.

где. Камнем был как бы я, пучком водорослей — моя левая кисть. Затем ниоткуда возникла широкая крытая баржа, помесь консервной банки и бутерброда, и глухо ткнулась в причал stazione. Горстка пассажиров выбежала на берег и устремилась мимо меня к вокзалу. Тут я увидел единственное человеческое существо, которое знал в этом городе; картина была сказочная.

Впервые я ее увидел несколько лет назад, в том самом предыдущем воплощении: в России. Тогда картина явилась в облике славистки, точнее, специалистки по Маяковскому. Последнее чуть не зачеркнуло картину как объект интереса в глазах моей компании. Что этого не случилось, было мерой ее обозримых достоинств. 180 см, тонкокостная, длинноногая, узколицая, с каштановой гривой и карими миндалевидными глазами, с приличным русским на фантастических очертаниях уст и с ослепительной улыбкой там же, в потрясающей, плотности папиросной бумаги, замше и чулках в тон, гипнотически благоухавшая незнакомыми духами, — картина была, бесспорно, самым элегантным существом женского пола, умопомрачительная нога которого когда-либо ступала в наш круг.